

И.П. Золотусский

Абсолютный слух

Феномен Шукшина — его абсолютный слух. Разговорное слово он схватывал, как сверхчувствительное записывающее устройство. Его рассказы — лучшее, что он написал — это байки, треп, вынутый из жизни анекдот или задумчивые «беседы при ясной луне».

При этом луну он не жаловал. У Шукшина почти нет пейзажей, глубокомысленных отступлений, нет и прямой социальной критики. Может, поэтому его охотно печатали и даже награждали при жизни, поскольку не метил он в диссиденты, в сокрушители строя, а больше нажимал на характеры.

Была, правда, и у него своя «революционная» мечта — снять фильм о Степане Разине, который еще под Астраханью «кунал» бояр в Волгу, а уж добравшись до Москвы, должен был добратся и до царя. И сам стать царем голытьбы.

Не вышло.

И фильм Шукшина, им выстраданный и, можно сказать, выплаканный, не был снят.

Жизнь оборвалась в тот момент, когда готов он был перейти от малой формы к большой, от зарисовок к эпосу. Ему, очевидно, как и Чехову (а от него он много взял), суждено было остаться на территории рассказа или короткой повести. И, как и Стеньке, прибыв из провинции, взять столицу приступом.

А до этого на кого он только не «пробовался»: на матроса, слесаря, учителя, радиста и на члена КПСС. А потом три облика принял: писателя, актера и режиссера.

Хорош он во всех трех — да и случай этот в наши дни не исключительный, — но пленка стирается, выцветает, а слово стоит крепко и лишь набирает силу, как долголетний мед.

Я часто думаю, как вели бы себя сейчас такие люди, как Шукшин или, скажем, Федор Абрамов. Лобызались бы они с первыми лицами государства или с ворами в законе, поощряющими высокое искусство? Или, устав от борьбы по освобождению масс, покинули бы свое отечество, изредка появляясь в нем, чтобы забрать конвертируемые рубли (заплаченные за их бессмертные сочинения) и перевести их в валюту и с нею слинять в какую-нибудь Оклахому?

Думаю, что вряд ли.

Получалось бы тогда, что зря они радели за «землю-матушку» и населяющий ее народ, зря, как Шукшин в «Калине красной», бились головой о безымянную могилку и, проклиная себя, кричали: «То же мать моя! Мать моя!»

Не вижу Шукшина ни на вручении «Ник» и «ТЭФИ», «Оскар» и «Триумфов», ни чавкающим за кремлевским халявным столом, ни с орденом на шее, на котором вместо одноголового Ленина (выведенного им в сказке «До третьих петухов» под именем Мудреца) изображен двуглавый орел.

Нет, не церковь
и не кабак,
и ничего не свято.
Нет, ребята, все не так,
все не так, ребята.

Эти слова из песни Высоцкого могли бы повторить многие, кого нет среди нас.

И им, честно говоря, повезло. Они ушли с нимбом, со славой. Что же было бы с ними сейчас? Наверное, то же, что и с теми, кто остался жить.

Шукшин появился в то время, когда слову писателя верили, а литературу берегли. Как берегли? В доме не было более дорогого богатства, чем книга. Книги дарили при окончании школы, на дни рождения. Даже на первых играх «Что? Где? Когда?» по теле-

видению призом за выигрыш была книга. Собрать библиотеку равнялось сегодняшнему желанию приобрести «Мерседес» или «Вольво», воздвигнуть дворец посреди погибающей деревни или просидеть отпуск на Гавайях.

В «Печках-лавочках» Шукшин высмеивает мужика, который в разгар сенокоса махнул в Крым за загаром и культурным отдыхом. Сегодня бы это ему не удалось: ни рублей, ни мертворожденных гривен у него в кармане нет. В рассказе «Верую!» есть другой мужик. Он никуда не ездит, а стоит перед окном и — какая бы ни была на дворе погода — предается тоске. Ему не ясен смысл жизни, смысл смены времен года, и у него «душа болит». Не находя ответов на свои вопросы, он отправляется в гости к приятелю, у которого гостит поп, и у попа допытывается, что такое душа и отчего она болит. Кончается все пьянкой, пляскою одуревших от водки людей, орущих попеременно: «Верую! Верую!».

А во что «верую!»? «В жизнь», — отвечает поп. Короткий ответ и короткая вера.

Автор дал герою рассказа имя и фамилию особые: Максим Яриков. Максим значит максима (то есть все — или ничего), а Яриков — яростный, неумный, без постижения этого «всего» жить неспособный. И это «все» не деньги, не богатство, а истина. Столь же неосязаемое понятие, как и душа.

Вот почему и непонятна жене Максима его тоска. Мы живы-здоровы, рассуждает она, чего же еще? Но Максиму этого мало. Он хотел бы знать, куда жизнь идет. На кудыкину гору, как говорит, подшучивая над ним, поп? Или за тою горою есть еще какое-нибудь пространство, какая-нибудь дорога, которую не видно из-за горы?

Нет, как ни давила на мужика власть, как ни выжимала из него соки — ни дожать, ни дожать не смогла. Феномен Шукшина — это феномен выжившего русского человека, который после костоломки, устроенной самому себе (а кто давил, что ли, не народ?), сохранил и речь, и мысль, и смех. Хотя шукшинский смех порой и гибелен. Он гуляет поверх беды и обиды, а в «Калине красной» и вовсе кличет смерть.

«Калину красную» можно смотреть, как воровской лубок. Она, так сказать, выплыла из тюремного фольклора, переиначив его сюжеты на свой лад. В фольклоре вор остается с ворами, у Шукшина он покидает их. Это сказка о воре, красивая мечта, и все здесь — и крестьяне, и крестьянки, и жалостливая русская баба Люба, пишущая вору письма в тюрьму, и олеографические березки, которые обнимает, возвращаясь в деревню, Егор Прокудин — утопический крик Шукшина о народе и о себе.

Зато рассказы его, как Некрасовская коробушка, полным-полны типов, которые еще долго будет изучать не столько историк литературы, сколько просто историк. Есть тут и ситец, и парча, и то золото, про которое Некрасовым сказано: «Золото, золото сердце народное».

Это не то золото, что хранится в подвалах Центробанка и что можно обменять на «зеленые». Про деньги у нас говорят: «И правда тонет, когда золото всплывает». Но говорят и другое: «Правда тяжелее золота, а на воде всплывает». Вот поди и разберись с таким народом, чего же он хочет: правды или денег? Или и того и другого вместе?

А сказке «До третьих петухов» Ивану-дураку, отправляющемуся добывать справку о том, что он умный, помогают в грудную минуту Илья Муромец и Стенька Разин, совершенно два разных характера, точно воплощающих два свойства русской природы: безоглядную смелость, доходящую до презрения к собственной жизни (Атаман) и обстоятельность, терпение, сидение на печи (Илья Муромец), сидение до поры до времени.

Ушли ли эти черты в прошлое? Остались ли они в нас? Для того чтобы узнать это, не надо нырять на большую глубину. Атаманские порывы, все эти «Сарынь на кичку!» и прочие безумства остались с избытком, а вот обстоятельность Ильи Муромца — где она?

То бежим за Гайдаром (и его гарвардскими учителями) и теряем по пути всю оснастку, то выпрыгивает наверх какой-то компьютерный мальчик, и мы обрушиваемся

в дефолт, то вдруг завладевает нашим воображением мало похожий на Кутузова генерал, обещающий от отступления немедленно перейти к атаке.

Шукшина породила деревня — крестьянский язык, крестьянское бытие и та культура, что замешена на мечте. За этой мечтой проглядывают и Святая Русь, и должный подняться со дна озера град Китеж, и легенда о Беловодье — царстве Божиим на земле.

И пусть нет у нас того крестьянства, тех песен и той поэзии. С этой мечтой ничего не поделаешь: сломали ей хребет, вывернули руки, а она жива.

Не возвратишь старую деревню, не возвратишь чистый лес, чистое поле, реки и луга, прожитую жизнь, дорогих людей (среди них и Шукшина), но не сотрутся голоса, звавшие нас «в даль светлую» (название одной из шукшинских повестей), а не в темную, провальную, где по углам, как говорил один нигилист у Достоевского, одни пауки, и они-то вместе с этою темною далью и есть «вся вечность».